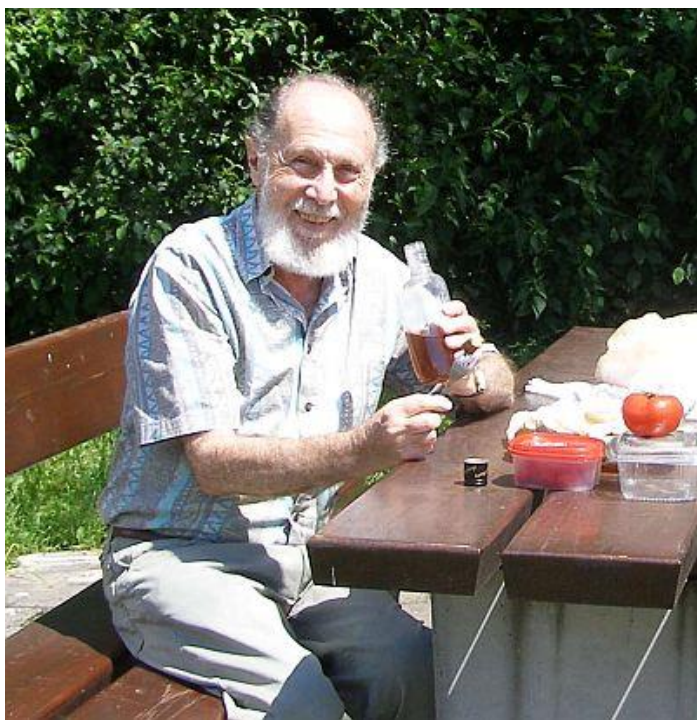


Борис Орлов (1930-2015)

Эстонцы из стройбата



Борис Орлов родился в Москве. Историк, писатель, публицист. Окончил истфак Московского государственного университета. В 1971 году подал документы на выезд в Израиль. Три года был в "отказе", активист алии, занимался еврейским самиздатом. С 1973 года живет в Израиле. Работал в Центре документации восточноевропейского еврейства при Еврейском университете в Иерусалиме, в редакции Краткой еврейской энциклопедии. В 1979 – 1999 гг. преподавал историю России в Тель-Авивском университете. Там же защитил докторскую диссертацию и получил степень доктора философии

(Ph.D.). Много лет сотрудничал на Радио Свобода. Работы по истории и публицистические статьи публиковал в научных журналах и общественных изданиях Израиля, России, Франции, Англии, а также в периодической печати Израиля на русском языке и на иврите. Автор книг: "Мюнстерские и другие рассказы, или Диалоги с самим собой" (Тель-Авив, 2003); "Возвращение в Сен-Мало" (Тель-Авив, 2005); "Антиквар из Амстердама" (Тель-Авив, 2010).

В моей жизни Эстония занимает особое место. Впервые я узнал о существовании такой страны летом 1940 года, 70 лет назад. Мне было 10 лет, я играл с детьми во дворе и, придя домой, услышал, как отец сказал, что он уезжает в Эстонию. Я очень удивился и спросил, где это и что он там будет делать. Отец сказал, что его мобилизуют в армию, а точнее во флот, и он теперь будет жить и работать в Таллинне, городе в Эстонии, где будут стоять корабли Балтийского флота.

Прошло много лет, пока я узнал подробности этого решения. Отец, врач-эпидемиолог города Москвы, участвовал в ликвидации вспышки чумы в Москве в конце 1939 г. Его забрали ночью из дома, и мама была уверена, что отца арестовали. Потом ей, видимо, сказали, что он работает по устранению страшной болезни, я же не знал ничего. Когда все кончилось,

отец находился какое-то время в карантине, а, вернувшись домой, сказал что будут давать за это ордена. Я очень обрадовался. Ордена действительно дали начальнику Райздрава, ещё кому-то, а отец получил только денежную премию. Он очень обиделся, и решил уйти с работы в Москве. Тут и пришло ему предложение мобилизоваться в Балтийский флот, где была нехватка врачей, и который тогда, летом 1940 года, вместе с Красной армией вступал в Эстонию. Ясно, что я ничего этого не знал, но любопытство меня разбирало сильное, и я попросил у старшей сестры глобус, чтобы узнать, где находится такая страна, Эстония. Разумеется, я на глобусе ничего не нашел, но сестра ткнула пальцем в какое-то место на



Балтийском море, недалеко от Ленинграда. Об этом городе я кое-что уже знал, в основном из кинофильмов.

Отец уехал, и мы стали получать из Таллинна письма с красивыми марками. Раза два он приезжал в морской форме военврача 2 ранга, и привозил невиданные в Москве эстонские конфеты с очень красивыми фантиками. Все дети тогда играли в фантики, и мальчишки во дворе мне страшно завидовали. Последний раз отец приехал в конце марта 1941 года. Он рассказывал о красивом городе Таллинне, не похожим на наши города. Он описывал аккуратных детей, идущих утром в школу и говорящих на незнакомом очень музыкальном языке. Меня отец учил числительным на эстонском языке, и я их запомнил надолго: Юкс, Какс,

Кольм, Нели. С мамой он обсуждал, как мы летом поедem к нему в Эстонию, только надо будет получать специальное разрешение. Ночью я слышал, как он говорил маме, что в Таллиннском порту стоит огромный корабль под немецким флагом, и что очень много эстонцев уезжает из страны.

“Они едут с вещами?” – удивленно спросила мама. Нет, сказал отец, они едут без вещей, с портфелем или с одной сумкой и говорят, что скоро вернуться. Он тихо добавил что-то еще, но я не понял, о чем шла речь. Отец уехал за день до моего дня рождения и подарил мне горстку эстонских монет, среди которых была одна, самая красивая. На ней была изображена ладья и написано, что стоимость её - одна крона. Он дал мне свою маленькую фотокарточку с



надписью и числом – 29 марта 1941 года. Карточку я храню до сих пор, а монеты забрали во время обыска в декабре 1950 года, когда у нас в доме арестовали мужа моей сестры. Офицер КГБ сложил монеты на столе, к которому нельзя было подходить, и сказал, что это иностранная валюта и их хранить нельзя. На столе уже лежали две книги, которые извлекли из бабушкиного сундука. Я их никогда не видел и не знал об их существовании. “Они на ихнем языке” - сказал офицер, проводивший обыск. Что это были за книги? – я не знаю. Скорее всего, “Сидур”, молитвенник, и Пятикнижие моего покойного деда. Книги и монеты были конфискованы вместе с огромным количеством книг моего зятя-историка, да и часть моих тоже прихватили заодно.



Поехать в Эстонию нам не удалось. 22 июня 1941 года началась война. Я помню этот день так, как будто это было вчера. Мы сидели около черной тарелки радио, так как сказали, что будет передано какое-то важное сообщение. Выступал Молотов, он заикался, я мало что запомнил, только понял одно, что началась война, и поездка наша к отцу не состоится.

Через месяц, 22 июля, начались бомбардировки Москвы. Во время тревоги мы спускались в подвал под домом, где хранили дрова. Теперь подвал стали называть бомбоубежищем. Тайком от мамы я лазил на чердак и видел, как взрослые ребята хватали небольшие горящие бомбы, которые пробили крышу нашего дома, и

засыпали их песком или совали в вёдра с водой. Потом этих ребят призвали в армию, и они ушли на фронт. Домой из них никто не вернулся.

На следующий день после начала бомбардировок соседи сказали, что ночью бомба упала недалеко от нас, на Арбате, и попала в Театр имени Вахтангова. Утром я побежал туда, ничего не сказав маме. Мне хотелось всё видеть самому. Угол театра был разрушен, и все говорили, что погиб один актер, по фамилии Куза. Через много лет я увидел его фотографию в фойе театра имени Вахтангова. Актер Василий Куза погиб 23 июля 1941 года.

От отца не было никаких известий. Где он и что с ним – мы не знали. В сообщениях Советского Информбюро весь август говорили о боях на Таллинском направлении. В конце августа город перестали упоминать в сводках, и мы поняли, что город сдали немцам. Так было и с другими городами, иногда их продолжали упоминать долго после отступления.

Мама отправила меня под Москву к сестре отца, тете Рае, она жила к северу от Москвы, в поселке Щелково. Мама думала, что там будет спокойнее. Там, действительно, было тише. Сбросив бомбы на Москву, немецкие самолеты спокойно разворачивались над нами и улетали. Я не видел ни одного воздушного боя, наших самолетов просто не было. В небе над Москвой было много прожекторов, зенитных разрывов, а над нами болтались аэростаты воздушного заграждения. Муж тети Раи, подполковник Резников, артиллерист, рвался на фронт. Он служил в противовоздушной обороне Москвы и считал, что сидит в тылу, в то время, как другие воюют. Он ушел со своей частью на фронт под Вязьму. Там осенью, в октябре 1941 года, попало в окружение свыше 600 тысяч наших солдат и офицеров. Домой Александр Резников не вернулся, и мы никогда ничего не узнали о его судьбе.

Ближе к осени началась эвакуация населения Москвы. Мы, мама, сестра и я, уехали эшелоном с Курского вокзала. Была огромная толпа, и все толкались, чтобы захватить нары в вагонах, набитых людьми. Вагоны называли теплушками, а меня запихнули на верхние нары около маленького окошка. Мы ехали на Урал, где у маминой близкой приятельницы были какие-то родственники. Иногда, как правило, ночью бывали тревоги. Тогда поезд останавливался, а мы вылезали из вагонов. Чаще всего он просто стоял в чистом поле. Через две недели мы вышли на станции, где было написано – Город Златоуст. Там я провел около полутора лет в эвакуации.

Златоуст был тогда небольшим промышленным городом, относившемся к Челябинской области. Там находился большой металлургический завод, известный всей стране, выплавлявший знаменитую нержавеющую сталь. Странно, но я об этом знал раньше. Может быть, что-то читал в журнале “Пионер”, а может мне показывали обложку одной из станций московского метро. Город был разбросан на холмах и невысоких горных хребтах, один из которых назывался смешно - Косотур. Улицы спускались к озеру, а вдоль озера вытянулись цеха ещё одного завода, выпускавшего снаряды. Туда пошла работать моя сестра, в то время ей было 17 лет. В декабре 41-го года ей исполнилось 18 лет.

Маму, врача, сразу же взяли в больницу, превращенную в госпиталь. В Златоуст очень скоро стали поступать раненные с фронта. В школе, где я начал учиться в 4-м классе, тоже устроили госпиталь, а нас перевели в какое-то старое заброшенное здание.

Сестра работала по 12 часов в сутки, приходила грязная и уставшая и сразу валилась спать. Спали мы с ней “валетом” на одной кровати. Мать я не видел неделями. Зимой, даже в лютые морозы, она пешком уходила в госпиталь, расположенный за горой. Там она вела отделение, часто дежурила, помогала при операциях. Однажды она принесла мне пулю, извлеченную при операции из плеча раненого солдата, и почему-то сказала: ”Сохрани её”.

Пулю я добросовестно хранил много лет, а потом описал в стихах её судьбу:

Хранилась долго пуля из плеча
Врачами исцеленного солдата.
Её зачем-то взяли сгоряча
При обыске в году пятидесятом.

В другой раз мама пришла очень расстроенная. Она рассказала, что в госпиталь недавно приезжали люди из НКВД, всех врачей расспрашивали и её тоже, а потом арестовали одного раненного. Врачам объяснили, что он самострел, и что его будут за это судить. Я не знал, что такое самострел, но мама объяснила, что так называют солдат, которые не хотят воевать и сами в себя стреляют, например, в руку. Потом их, как раненных, отправляют в тыл.

- Его судили? - спросил я. - И что с ним сделали?

- Его расстреляли, - просто сказала мать.

Я был потрясен и не знал, что сказать. Я много не знал тогда и не мог объяснить себе, почему надо было расстрелять человека в тылу, а не отправить его обратно на фронт.

Мне, как уже самостоятельному человеку, осенью 1941-го года мать вручила карточки на хлеб и на продукты, если их будут давать. Мне было 11 лет, и я стал главным снабженцем семьи. Карточки надо было “отоваривать”, сначала в любом, а потом в одном определенном магазине, к которому мы были прикреплены. Я получал хлеб по рабочей, служащей и детской карточкам. Детская карточка давала 400 гр. черного, плохой выпечки хлеба, и его, конечно, было мало. Иногда давали коричневого цвета сахар, редко макароны и какую-то крупу. Зимой стали давать американскую тушенку, она была в помятых, обмазанных какой-то смазкой банках без этикеток. Некоторые знатоки уверяли, что куски волокнистого коричневого цвета мяса в ней с отвратным жиром сверху, были мясом обезьян. Нам это было всё равно, мы были голодны. Есть хотелось все время. В школе ученикам давали серого цвета маленькие пирожки с морковью, а иногда с молотой вместе с костями черемухой, единственным фруктом, произраставшем в Златоусте. Рацион наш был скуден, но достаточен, чтобы продержаться на голодном пайке.

Однажды, выйдя из магазина, я увидел невдалеке колонну то ли солдат, то ли заключенных. Они остановились, а солдат, их охранявший, пошел в магазин. Я подошел поближе. Люди стояли спокойно, и почти не разговаривали друг с другом. Это были мужчины очень высокого роста, большей частью блондины с голубыми глазами. Одеты они были в невообразимую одежду. На некоторых были потрепанные пиджаки, другие кутались в какое-то рваньё. Я спросил у прохожего, что это за люди, и что они тут делают? Он ответил равнодушно, что это эстонцы из стройбата, и

что они работают тут где-то недалеко на стройке. Эстонцы в Златоусте? – я очень удивился, но узнать подробности было не у кого.

Внезапно я заметил, что некоторые эстонцы из колонны внимательно смотрят на мою “авоську”, плетеную сетку, в которой лежали только что полученные пайки черного хлеба. Не знаю, что я подумал, скорее всего, что они хотят есть, а у меня нет ничего, кроме этого хлеба, полученного по карточкам. Я достал довесок к пайке и протянул его ближайшему ко мне эстонцу. Он несколько поколебался, но потом взял и молча кивнул мне головой. Я ушёл смущенный.

Через несколько дней я снова встретил колонну стройбата. На это раз я быстро подошел к людям в строю и, пошарив в авоське, протянул им два маленьких довеска. Потом, не знаю почему, я вдруг произнес то, чему учил меня когда-то отец: Юкс, Какс, то есть – один, два. Конечно, я имел ввиду два своих довеска хлеба. Трудно передать, как удивились эстонцы. Один из них, оглянувшись, спросил на плохом русском языке: “ Ти из Эстонии? “ – “Нет, я из Москвы”, - ответил я поспешно и убежал.

Жизнь в Златоусте текла своим чередом. Летом было много дождей, зимой стояли страшные морозы, но было безветренно и тихо. Когда температура опускалась ниже 30 градусов, что бывало довольно часто, заводской гудок гудел немного раньше 8 часов утра. В 8 часов завод начинал работать в дневную смену, а я по гудку знал, что в школу можно не ходить. Но в магазин всё равно приходилось ходить за хлебом, даже в самые лютые морозы.

От отца начали приходиться письма, это были не конверты, а сложенные из бумаги треугольники со штампом военной цензуры. Отец писал сначала из Кронштадта, а потом из Ленинграда. Иногда некоторые строки были замазаны чем-то черным. Может быть, он упоминал что-то, что нельзя было сообщать по условиям военного времени, и цензура замазывала это. Подробностей его жизни мы не знали.

В Златоуст стали приходиться похоронки на тех, кто ушел на фронт из этого уральского городка, и был убит. Мы жили в доме работника Metallургического завода, сыновья которого были на фронте. Сначала пришла похоронка на старшего сына. Он служил на границе и, видимо, погиб в первые дни, а может быть, даже часы войны. Второй сын, Василий, отступал, поначалу писал, но к зиме пришла похоронка и на него.

Я дружил с младшим сыном, Анатолием, веселым парнем, который работал на том же заводе, что и моя сестра. В свободное время он разводил голубей. Я любил сидеть вместе с ним на крыше, где он держал голубятню. Толя продавал голубей, а потом они прилетали к нему обратно, и он их снова продавал. Мне было смешно и занятно смотреть на это. Вставать утром на работу Анатолий не любил, особенно зимой. Мать не могла его добудиться. Однажды он проспал и опоздал на завод, минут на двадцать. Его судили и отправили на фронт, хотя ему не было ещё 18-ти лет. Это была уже зима 1942 года, шли бои под Сталинградом. Мне кажется, он не

успел доехать до линии фронта, как пришла похоронка. Может быть, их состав разбомбили по дороге, не знаю. В доме несколько дней голосили и пили самогон. Потом хозяин вернулся на работу, а хозяйка стала просить меня помочь ей в доме, по хозяйству: что-то выкопать на огороде, сходить с ведрами за водой, или отрубить тяжелым топором курице голову. Сама она это делать боялась. К зиме кур уже не было. Потом прирезали и корову, кормить её всё равно было нечем.

С началом зимы эстонцам из стройбата выдали шинели, старые и рваные. Вряд ли это спасало от суровых уральских морозов, шеи они закутывали полотенцем или какими-то тряпками. На ногах почти у всех были тяжелые колодки, которые нельзя было назвать башмаками. К толстой деревянной подошве сверху был прибит кусок парусины, и всё это было обмотано веревкой. Такую же точно обувь таскала на завод моя сестра.

С каждым днем эстонцев становилось все меньше и меньше, а вид у них становился всё печальнее. Они осторожно брали мои кусочки хлеба, и иногда что-то бормотали на своем языке. Может быть слова благодарности, не знаю. Я этого языка не понимал. Как-то я спросил у мамы, привозят ли им в госпиталь больных эстонцев из стройбата? Она ответила, что привозят редко, чаще всего с воспалением легких, и что большей частью они не выживают.

- Что значит, не выживают? – задал я наивный вопрос. - Да, ничего, умирают, как и все, - ответила мать. - Смертей она, конечно, повидала к этому времени предостаточно.

К весне 1942 года стройбат поредел, а потом исчез совсем. Больше я эстонцев в Златоусте не встречал. Я думаю, что большинство их перемёрло в ту суровую зиму 1941-42 года. Однажды я увидел колонну, похожую на знакомый мне стройбат, но там были совсем другие люди, Они громко переговаривались, ругались и просили у прохожих окурки. Я отошел, разочарованный.

В январе 1943 года было прорвано кольцо блокады Ленинграда. Отец получил короткий отпуск, и по Ледовой дороге, по льду Ладожского озера, выехал на Большую землю. На два или три дня он приехал к нам в Златоуст. Он уже был награжден Орденом Красной звезды, я был очень горд и привел его в школу. Наверно, это был первый живой фронтовик, которого видели ученики. Он рассказывал о блокаде Ленинграда, о страшном голоде, от которого умерли тысячи жителей города, о непрерывных обстрелах. Дети сидели, как замороженные, и почему-то старались придвинуться поближе. Дома он рассказывал нечто другое: о том, как они отступали из Прибалтики и как в них стреляли из окон жилых домов. Как уходили морем из осажденного Таллинна в Кронштадт на кораблях и транспортах полных раненных, как их бомбили всю дорогу, а воздушного прикрытия не было никакого. После Кронштадта отец был на маленьком клочке земли – плацдарме около Ораниенбаума, а потом уже в блокадном Ленинграде.

Он уехал, а я продолжал отмечать на вырванной когда-то из газеты карте линию фронта. В феврале 1943 года я отодрал в городе от стены короткое срочное сообщение о начале наступления под Сталинградом. Можно было немного вздохнуть свободнее.

В марте 1943 года мы покинули Златоуст. Сначала в Москву вернулась сестра, а потом поехали мы с мамой. В Москву нельзя было вернуться без особого разрешения. Мама ехала, как врач, сопровождающий раненого солдата домой. Это мало помогло ей. В Рязани её ссадили с поезда, а я поехал дальше с раненым. Мы въехали в Москву ранним утром, и патруль на вокзале не хотел нас пропускать в город. Мой солдат отодвинул их раненой рукой, и я впервые услышал такой мат, что долго не мог опомниться. Мы прошли в город, и он привез меня домой. Дома было темно и очень холодно. Стекла в окнах были выбиты воздушной волной от упавшей рядом бомбы. Окна были забиты фанерой и затянуты старым одеялом. Сестра спала, укрывшись ворохом одежды. Она очень мне обрадовалась.

Это было 30 марта 1943 года. Мне исполнилось ровно 13 лет.